

**Дмитрий Наркисович Мамин-  
Сибиряк**

**В горах**

**Очерк из уральской жизни**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк**

В горах: Очерк из уральской жизни / Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2011. – 80 с.

**ISBN 978-5-4241-3044-1**

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

**ISBN 978-5-4241-3044-1**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011



# I

...Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов — и лес точно расступился передо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный<sup>1</sup> балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей»,<sup>2</sup> заведенных в эту глушь жадной легкой наживы и слепой верой в какое-то никому не известное счастье.

— Кто там, крещеный? — сердито окликнул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите переночевать, — отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнейч, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищутив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир, дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь...

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватой бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — растерянно и вместе радостно заборотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими

маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновой, — забормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. — А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустил опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

— Я вам не помешаю? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, — отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. — Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

— Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

— Одначе здоровый крюк сделал! — проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.

— Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писанный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, — отвечал старик.

— А отсюда до Момынихи сколько верст будет? — спросил я старика.

— Да как тебе сказать, чтобы не соврать... Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

— А как этот лог называется, где вы стараетесь?

— Да кто его знает, как он называется... — с видимой неохотой отвечал старик. — По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

— А ты, поди, есть хочешь, сердешный? — ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. — На-ка, вот, закуси, а то натошак спать плохо будешь... Не взыщи на угощеньи, — наше дело тоже странное:<sup>3</sup> что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

— Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! — умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновой, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принял благодарить за этот ужин, раскольница опустила глаза и скромно сказала:

— Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, — не взыщи с нас. — Помолчав немного, она прибавила: — Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, — ну, да сегодня с нами уснет

у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, — я согласился.

## II

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, насланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего неба с плившей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько поленьев сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и улыбался. Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел. Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине. Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого — ноги, у третьего — туловище. Только

голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.

— Говорят, к нам на Старый завод нового станového пришлют, — говорил старик, глядя на огонь.

— Врут! — резко ответила Василиса Мироновна. — Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станového, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, — ему и шевелиться-то теперь лень...

— А больно он смешон попервоначалу-то был, — улыбаясь, говорил старик.

— Кто это?

— Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, — ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станového. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась — и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам — казаки, сотские, все, как следует. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, — говорит Пальцев, — говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», — это он казакам своим, — ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, — говорит Пальцев, а сам смеется, — тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, — ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

— Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, — говорила Василиса Мироновна.

— Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой — так посеребрит, что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую всегда под станového ставил, — звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся — Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке трянуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем

на завод, так посеребрят...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сажу ни жив ни мертв. «Погоди, — говорит Пальцев, — мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, — знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сажу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

— Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

— Это Федя-то Заверткин?

— Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, — пришлось мне ехать самому. Подую лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на доньшке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довести, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! — кричит. — Где едем?» — «Так и так, ваше благородие...» — «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разве я, говорит, туда тебе велел ехать?» — «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» — «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» — а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, — обидел он меня, — так бы вот его взял да перекрутил пополам... А он догадался, выныл леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» — «Поворачивай назад в Махнево!» — кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке — так, совсем бросовая бабенка, — посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили — страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой — да плясать, да впрысядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого заводу и пролежала... Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, — прибавил рассказчик.

— Как порешил?

— Загнал всех лошадей начисто.

— Заплатил?

— Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной... И с ямчины согнал.

— Этакой пес! — ворчала Василиса Мироновна. — Хуже станového будет...

— В тыщу раз хуже: становой што? Становой — человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, — того гляди, убьет... Становой обнакновенно возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразней я не видывал.

— Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, — вставил свое

слово Калин Калиныч, хранивший все время молчание. — Как-то намеднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули... Ей-богу-с! И беспременно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, — ведь выпил-с!

— Кто выпил?

— Да я выпил-с, — с невозмутимой улыбкой отвечал Калин Калиныч. — И после этого ничего худого со мной не было, только очинно вспотел-с... Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы...

— Ишь ведь, гнус какой завелся! — сердито ворчала Василиса Мироновна.

— А вы это напрасно, Василиса Мироновна, — вступился Калин Калиныч. — Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

— Ах, Калин, Калин, — качая головой, строго говорила раскольница, — дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

— А вот и скажу, и всегда скажу! — с азартом протестовал Калин Калиныч. — Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота столкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч — другое: он — от души, для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижаюсь! Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там — бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

— Ну, а дочь у тебя где, Калин?

— Дочь?... Дочь на месте... Учительшей служит, — не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: — А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощенный день на масляной проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне — не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.

— А ведь она меня обидела как, — продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. — Сели мы в прощенный день обедать, она и давай меня донимать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, — про себя говорит, — жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, — это она меня и себя уродами-то крестит, — а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас — и рост и детки, — от бога, мол, все это, а на бога приходиться<sup>4</sup> грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, — во всей

нашей прероде не было таких карахтеров.

— Нехорошо это, больно нехорошо, — говорила Василиса Мионовна, строго глядя на Калина Калиныча.

— И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, — точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.

— А с дочерью-то помирился? — спрашивала раскольница.

— Помирился и проклятие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, — она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней — и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мионовна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.

— А что Аристарх Прохорыч? — спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

— У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалуют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

— И ты в свидетелях?

— И меня запутали, грех их бей!..

— Чего же ты показывать будешь?

— А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намерднись приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

— А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

— Нет-с... Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:

— Это все их адвокат мутит...

— Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

— А кто же, по-вашему, виноват?

— А по-моему — оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

### III

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить целую Одиссею, но меня лично интересовали не эти рассказы, а Василиса Мионовна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обыкновенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять — шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где водка, там, конечно, присутствуют и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неисчислимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дрянью. Старик пробовал отказываться, но это было совершенно напрасно, — приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила непременно желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

— Да ты-то чего мнешься? Оставайся! — говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у Калина Калиныча.

— Я-с... я-с с моим удовольствием, — лепетал старик, — только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

— Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

— Это точно-с, только-с оно неловко-с.

— Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

— Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

— Да что с ним говорить попусту, — вступился Заверткин. — Ты, Калин, говори уж прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. —